

# Записки Мальте Лауридса Бригге

**Автор:**

Райнер Мария Рильке

Записки Мальте Лауридса Бригге

Райнер Мария Рильке

Librarium

«Я учусь видеть» – одна из первых записей в дневнике Мальте Лауридса Бригге, молодого датчанина, что приехал в Париж. Нищие кварталы и ночлежки, грохот трамваев, изнеможение и безнадега – вот что видит Мальте. Он собирается стать писателем, высказать увиденное в дневнике, это необходимо, чтобы сохранить целостность. Однако герой неспособен связать свою жизнь с жизнями других, выворачиваясь наизнанку, препарирруя, вглядываясь и вслушиваясь, он приговаривает себя на вечное одиночество.

Роман австрийского поэта Р. М. Рильке – вершина его прозаического мастерства. Реализм рассекается картинами Сезанна, и перед нами – модернистский роман, ритмизированная проза.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Райнер Мария Рильке

Записки Мальте Лауридса Бригге

Перевод с немецкого Е. Суриц

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

11 сентября, rue Touiller[1 - Улица Тулье (франц.). – в центре Парижа, на которой поселился Рильке в 1902 году. (Здесь и далее – прим. пер.)]

Сюда, значит, приезжают, чтоб жить, я-то думал, здесь умирают. Я выходил. Я видел: больницы. Видел человека, Который закачался, упал. Его обступили, я был избавлен от остального. Видел беременную. Она тяжело брела вдоль высокой теплой стены и все ощупывала ее, как проверяла, не делась ли куда-то стена. Нет, стена никуда не делась. А за нею? Я сверился с планом: Maison d'Accouchement[2 - Родильный дом (франц.)]. Хорошо. Ей помогут разродиться, там это умеют. Дальше – rue Saint-Jacques[3 - Улица Сен-Жак (франц.). находится в Латинском квартале.], высокое здание под куполом. В плане – Val-de-grace, Hopital militaire[4 - Букв, «долина милосердия» (франц.). – монастырь и военный госпиталь.]. Мне, собственно, это было незачем знать, впрочем, не мешает. Улица стала вонять. Воняло, насколько я мог различить, йодоформом, чадом от жареной картошки и страхом. Летом воняют все города. Потом я увидел дом, странно слепой, как в бельмах, в плане он не значился, но я разобрал над дверьми: Asyle de nuit[5 - Ночной приют, ночлежка (франц.)]. У входа были цены. Я прочел. Сходные цены.

Что еще? Ребенок в коляске. Опухший, зеленый, на лбу четкая сыпь, она, видно, уже подживала, ему было не больно. Ребенок спал, рот был разинут, вдыхал йодоформ, чад картошки и страх. Вот так-то. Главное, что живешь. Это главное.

Никак не могу отучиться спать с открытым окном. Судорожный дребезг трамвая насквозь пробивает комнату. Надо мной проносятся автомобили. Хлопает дверь. Где-то разбилось со звоном стекло, большие осколки хохочут, хихикают мелкие, я все это слышу. Потом вдруг – сдержанней, глуше – шум с другой стороны, где-то в доме, внутри. Кто-то идет по лестнице. Идет, идет – без конца. Уже тут, давно уже тут. И – мимо. И снова улица. Визжит девушка: «Ah, tais-toi, je ne veux plus»[6 - Да замолчи ты, я не хочу больше (франц.)]. Вверх летит звон трамвая, над всем, сквозь все, прочь, прочь. Кричит кто-то. Бегут, обгоняют друг друга. Собака лает. Какое облегчение – собака! Под утро даже поет петух – невыразимая благодать. Потом, вдруг, я засыпаю.

Это шумы. Но есть кое-что страшнее шумов – тишина. Я думаю, во время большого пожара наступает такой мучительный миг: водяные струи опадают, уже не карабкаются вверх пожарные, все замирает. Медленно рушится сверху черный карниз, и всей стеной, схваченной огнем, дом кренится – беззвучно. Все стоит, застыв, сжавшись, ждет страшного удара. Вот такая тут тишина.

Я учусь видеть. Не знаю, отчего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится – не знаю.

Сегодня писал письмо и вдруг сообразил, что ведь я здесь всего три недели. Три недели в другом месте, в деревне например, промелькнули бы как один день, здесь это целая вечность. И не буду я больше писать писем. Зачем сообщать кому-то, что я меняюсь? Если я меняюсь, я уже не тот, кем был, я уже кто-то другой, и, стало быть, у меня нет знакомых. А чужим людям, людям, которые не знают меня, я писать не могу.

Я говорил уже? Я учусь видеть. Да, начинаю. Пока еще дело идет неважно. Но я учусь.

Например, прежде мне не приходило в голову, какое на свете множество лиц. Людей – бездна, а лиц еще больше, ведь у каждого их несколько. Есть люди, которые одно лицо носят годами, оно, разумеется, снашивается, грязнится, может прохудиться на складках, растягивается, как перчатка, которую надевали в дорогу. Это – простые, бережливые люди; они не меняют лица, даже не отдают его в стирку. Сойдет, говорят они, и кто им докажет обратное? Но напрашивается вопрос, раз у них несколько лиц, – что делают они с остальными? Они их берегут. Еще дети поносят. Однако, бывает, их пес, выходя на прогулку, щеголяет в хозяйском лице. Ну и что такого? Лицо есть лицо.

А есть люди, которые невероятно часто меняют лица, одно за другим, и лица на них просто горят. Сперва им кажется, что на их век лиц хватит, но вот им нет сорока, а остается последнее. В этом, бесспорно, своя трагедия. Они не привыкли беречь лицо, последнее за восемь дней снашивается до дыр, во многих местах делается тонким, как бумага, и все больше просвечивает изнанка, не лицо, и так они вынуждены расхаживать.

Но женщина, та женщина! Она вся ушла в себя, наклонясь вперед, уткнувшись лицом в ладони. Это было на углу rue Notre-Dame-des-Champs[7 - Улицы Нотр-Дам-де-Шан (франц.). - в центре, неподалеку от Люксембургского сада.]. Я замедлил шаг, едва я ее увидел. Не надо мешать задумавшимся беднякам. Вдруг до чего и додумаются.

Улица была пуста; ее пустота скучала; она выхватывала шаги у меня из-под ног и гроыхала ими как деревянными башмаками. Женщина испугалась, слишком быстро, слишком резко оторвалась от себя, так что лицо осталось в ладонях. Я видел, оно там лежало, пустой оболочкой. Мне стоило невероятных усилий удержать взгляд на этих ладонях и не смотреть на то, от чего они оторвались. Страшно было смотреть на лицо с изнанки, но еще больше я боялся голой, ободранной головы без лица.

Я боюсь. Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся. Ужасно, если я вдруг заболею тут, ведь если кому-то вздумается меня отвести в Hotel-Dieu[8 - Букв, «приют бога» (франц.). - парижская больница, построена в VII веке.], я там непременно умру. Он очень удобен, этот Hotel, в него едут и едут. Даже спокойно не полюбуешься видом парижского собора - того гляди, налетит на тебя одна из повозок, на всей скорости несущихся сюда открытым пространством. Это такие маленькие омнибусы, сигналившие пронзительно, без конца, так что самому герцогу Саганскому пришлось бы остановить карету, втемясь какой-нибудь ничтожнейшей личности срочно отправиться умирать в Божий Отель. Умирающие настырны, и весь Париж обязан застыть, когда мадам Легран, старьевщица с rue de Martyrs[9 - Улицы Мучеников (франц.).], спешит на некое место в Cite[10 - Сите - старинный район Парижа.]. Эти проклятущие повозки, надо заметить, снабжены весьма интригующими оконцами матового стекла, и за ними вы вольны воображать изысканнейшие агонии. На это достанет воображенья консьержки. Если же у вас фантазия побогаче - тут для нее буквально безграничный простор. Но видел я и открытые дрожки, наемные дрожки с откинутым верхом и нанятые по самой обычной цене: два франка за смертный час.

Этот прелестный отель - чрезвычайно старинный. Уже во времена короля Хлодвига[11 - Хлодвиг (ок. 466-511) - основатель Франкского королевства.] умирали здесь на немногих кроватях. Теперь умирают на пятистах пятидесяти девяти. Разумеется, фабричным способом. При такой огромной продукции каждая смерть уж не отделяется столь тщательно; но ведь это неважно. Важно количество. Кому нынче нужна безусловно выполненная смерть? Никому.

Даже богачи, которые уж могли бы позволить себе умереть со всей обстоятельностью, и те мало-помалу начинают небрежничать. Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и она станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь. Господи! Ведь как бывает. Ты приходишь, жизнь тебя поджидает, готовенькая, остается только в нее влезть. Ты хочешь, или тебя принуждают уйти – и опять ни малейших усилий. *Voilà votre mort, monsieur*[12 - Вот ваша смерть, сударь (франц.)]. Умираешь как попало. Умираешь той смертью, которая положена твоей болезни (ведь поскольку мы знаем теперь все болезни, мы знаем, что тот или иной летальный исход положен данной болезни, а не данному лицу; и больному, как говорится, просто нечего делать).

В санаториях, где умирают так дружно и с такой благодарностью к врачам и сиделкам, умираешь той смертью, какая в данном заведении заведена; это весьма поощряется. Но когда умираешь дома, естественней избрать почтенную смерть из хорошего круга, как бы кладущую начало погребению по высшему чину и соответственным пышным обрядам. Бедняки толпятся под окнами и наслаждаются зрелищем. У них-то самих смерть банальнейшая, совершенно без церемоний. Хорошо еще, если попадетсЯ хоть сколько-нибудь подходящая. Когда велика – не беда: всегда ведь вытягиваешься чуть-чуть. Вот когда не сходится на груди, когда жмет – тогда дело хуже.

Когда я возвращаюсь мыслями к родному дому, где никого уже не осталось, я думаю, что прежде было иначе. Прежде люди знали (а быть может, догадывались), что содержат в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослые большую. Женщины ее носили в утробе, мужчины – в груди. Она у тебя была, и это тебе придавало особенное достоинство и тихую гордость.

Еще по деду моему, старому камергеру Бригге, видно было, что он носил в себе свою смерть. И какую! Протяженностью в два месяца и до того громкую, что слышно по всей округе.

Длинный старый господский дом был для нее мал. Впору, казалось, пристраивать еще боковые крылья, ибо тело камергера делалось все больше, и он все время требовал, чтобы его переносили из комнаты в комнату, и безмерно гневался, когда к исходу дня не обнаружилось комнаты, где он еще не лежал. Тогда-то целая процессия лакеев, горничных и собак, которых всегда он держал при себе, под водительством дворецкого сопровождала его наверх, в ту комнату,

где умерла его досточтимая матушка. Комната стояла в том точно виде, в каком она ее оставила двадцать три года назад, и с той поры никто не переступал порога. И вот туда ввалились всей ватагой. Шторы отдернули, и крепкий летний свет шарил по робкой, вспугнутой мебели, неуклюже тыкался в поспешно обнажаемые зеркала. Люди вели себя ему под стать. Горничные девушки так волновались, что не знали, куда девать руки, молодые лакеи на все глазели, разиня рты, слуги постарше слонялись из угла в угол, припоминая, что было им говорено про запретную комнату, где так счастливо они вдруг очутились.

Но собаки, кажется, особенно наслаждались комнатой, где каждая вещь пахла по-своему. Длинные тощие русские борзые с любопытством заглядывали за кресла, покачивающейся танцевальной поступью пересекали паркет, вставали на дыбы, как геральдические щитоносцы, и, положив узкие лапы на белые золоченые подоконники, вертели сторожками, острыми мордами и поглядывали в сад. Маленькие перчаточко-желтые таксики невозмутимо устраивались в просторном шелковом кресле у окна, а жесткошерстый угрюмый легавый пес терся спиной о край золотонного столика, до дрожи пугая севрские чашки на расписной столешнице.

Да, для рассеянных, сонных вещей наступило ужасное время. Из книги, неловко распахнутой торопливой рукой, выпадал розовый лепесток и погибал, растоптанный, мелкие, слабенькие безделки в грубых пальцах тотчас ломались и, битые, поспешно водворялись на место; обломки совали за шторы, забрасывали за золоченую каминную решетку. И то и дело падало что-то, глухо падало на ковер, звонко падало на жесткий паркет и всегда разбивалось – громко раскалывалось или разлеталось беззвучно; изнеженные предметы не могли перенести паденья.

А спроси кто-нибудь, что причиной, кто наслал такую напасть на ревниво оберегаемый этот покой, ответ был бы один: Смерть.

Смерть камергера Христофа Детлева Бригге из Укьсгора. Он лежал на полу посреди комнаты, огромный, вздувая свой синий мундир, и не шевелился. На огромном, чужом, уже никому не знакомом лице были закрыты глаза, он не видел происходящего. Сперва пытались уложить его на кровать, но он воспротивился, он ненавидел кровати с той первой ночи, когда в нем завелась болезнь. Вдобавок кровать тут, наверху, оказалась ему мала, и оставалось только положить его на ковер; вниз возвращаться он не хотел.

И так он лежал, и казалось, он умер. Собаки, когда постепенно смеркалось, выскальзывали одна за другой в полуотворенную дверь; лишь хмурый легавый пес сидел рядом с хозяином, положив широкую косматую лапу на огромную серую руку Христофа Детлева. Слуги, все почти, тоже выходили в беленый коридор, где было светлей, чем в комнате; оставшиеся поглядывали украдкой на темнеющую на ковре гору и втайне желали, чтобы это была просто большая одежда, прикрывавшая тление тела.

Но было еще и другое. Был голос. Голос, который вот уже семь недель был никому не знаком, ибо то не был голос камергера. То был не голос Христофа Детлева, то был голос его смерти.

Много, много дней уже смерть Христофа Детлева Бригге жила в Ульсгоре, ко всем взывала и требовала: требовала перемещений, требовала голубую спальню, требовала малую гостиную, требовала парадный зал, требовала собак, требовала, чтоб кругом говорили, смеялись, играли, молчали – всё сразу. Требовала, чтоб привели друзей, привели женщин и тех, кто умер давно, требовала, чтобы дали поскорей умереть. Требовала. Требовала и орала.

И когда наступала ночь и замученные слуги, освободясь от бдения подле Христофа Детлева, пытались вздремнуть, смерть его орала, орала, стонала. Она вопила так долго и так неотступно, что собаки, сперва подвывавшие ей, смолкали и, не смея прилечь, стояли на длинных стройных ногах и дрожали от страха. И когда этот вопль долетал до деревни сквозь серебряную, просторную датскую ночь, там, как в грозу, вставали с постелей, одевались и молча сидели под лампой, пока он не стихнет. И женщин на сносях прятали в самые дальние комнаты, за самые густые пологи; и все равно они слышали вопль, будто рвавшийся у них из утробы, и они молили, чтобы им позволили встать, и, широкие, белые, со стертыми лицами, садились рядом со всеми. И стельные коровы, которым пришел срок, не могли отелиться; и у одной пришлось вырвать мертвый плод вместе со всеми кишками, ибо плод не хотел выходить. И все в усадьбе скверно выполняли работу, забывали метать стога, потому что весь день они в ужасе ждали ночи и так устали от бессонных ночей, что ничего уже не понимали. А по воскресеньям в белом, мирном храме они молились, чтобы не было в Ульсгоре хозяина. Потому что то был страшный хозяин. И все, о чем молились они, громко твердил пастор с амвона; ведь и сам он лишился ночей и уже не понимал Господа. И то же твердил колокол, напуганный страшным соперником, гудевшим ночь напролет, с которым не мог он тягаться, как ни надсаживал свое медное натруженное нутро. Да, все твердили одно. И был

среди крестьян помоложе один, которому приснился сон, будто он пошел в господский дом и заколол хозяина вилами. И так все были измучены, так взвинчены, что, пока он рассказывал сон, невольно поглядывали на него, прикидывая, способен ли он на такое. И так думали и говорили по всей округе, где еще несколько недель назад любили и жалели камергера. Все говорили одно, но ничто не менялось. Смерть Христофа Детлева, обитавшую в Ульсгоре, нельзя было торопить. Она явилась на десять недель и ровно десять недель продержалась. И все это время она нераздельно властвовала в Ульсгоре, как никогда не властвовал Камергер. Как царь, вековечно зовущийся Грозным.

И то не была смерть кого-то, больного водянкой; то была жестокая княжья смерть, которую камергер в себе питал и вынашивал. Всеми излишками гордости, своеволия, властолюбия, которые он не растратил в спокойные дни, теперь завладела смерть, и смерть, окопавшись в Ульсгоре, их расточала.

Как взглянул бы камергер Бригге на того, кто пожелал бы ему умереть не такой смертью, иначе? Он умер своей, тяжелой смертью.

И как вспомню других, кого я видел, о ком слышал, – все то же. Они умирали своей смертью. Мужчины вынашивали свою смерть, загнавши в себя, как пленника; женщины делались очень старыми, очень маленькими и на огромной постели отходили достойно и скромно, как на сцене, под взорами челяди, родных и собак. Даже совсем крошечные дети и те умирали не как придется, нет, они владели собой и умирали, как им подобало или как им подобало бы в будущем. А женщинам, беременным женщинам, когда они обнимали невольно тонкими руками большие свои животы, им печальную прелесть два плода придавали: ребенок и смерть. И не оттого ли на опустелых лицах медлила густая, почти насыщающая улыбка, что они чувствовали, как созревают оба плода?

Я кое-что предпринял против страха. Всю ночь я сидел и писал; и теперь совершенно умаялся, как, бывало, после долгой прогулки в полях Ульсгора. А ведь жаль, что всего этого уж нет, что чужие люди живут в старом длинном господском доме. Может статья, в белой комнате, наверху по фасаду, спят теперь горничные, спят тяжелым влажным сном с вечера до утра.

А у меня нет ничего, никого, я скитаюсь по свету с сундучком да связкою книг, даже без любопытства. Ну что, в самом деле, за жизнь: без дома, без унаследованных вещей, без собак. Если бы хоть воспоминанья остались. Да у

кого они остаются? Было детство – и нет его. Быть может, надо состариться, чтоб опять этим всем овладеть. Да, наверное, лучше состариться.

Сегодня было прекрасное осеннее утро. Я прошелся по Тюильри. Все, что лежало на востоке, под напалзавшим солнцем, слепило. Все, на что падало оно, занавесил туман, будто серым пологом света. Серые на сером, в еще неоголенном саду, замечтались под солнцем статуи. Цветы на длинных газонах, вдруг встрепенувшись, вскрикивали испуганно: «Красное!» Потом очень высокий худой человек вышел из-за угла, с Елисейских полей. У него был костыль. Но он не опирался на него, он выбрасывал его вперед и то и дело стучал им оземь, словно жезлом герольда. Он не мог подавить радостную улыбку и улыбался всему: солнцу, деревьям. Поступь у него была неверная, как у ребенка, но странно легкая, полная памяти о прежней ходьбе.

Всё из-за луны, такой маленькой. В эти дни все вокруг нас легко, прозрачно, едва прихвачено яркостью воздуха и, однако, отчетливо. Близь вбирает цвета дали, льнет к ней и сама ею прикидывается. И все, что рвется в простор: река, мосты, безоглядно себя расточающая площадь, – как рисунок на шелку, закреплено на этом просторе. И уже не разобрать, что обернется светло-зеленой каретой на Pont-neuf[13 - Новом мосту (франц.). – мост через Сену, в центре Парижа.], красной неумемной вспышкой или просто плакатом на брандмауере жемчужно-серого дома. Все упрощено, сведено к ясным, четким планам, как лицо на одном портрете Мане. Ничего мелкого, случайного. Букинисты на набережной раскладывают свой товар: свежая блеклая желтизна листов, лиловая темь переплетов, обширная зелень карт – все дружит, все сообща создает полноту, где ни в чем нет недостатка.

Внизу следующая сцена: женщина толкает тележку; ближе к передку, боком – шарманка, сзади, поперек – коляска, в ней на крепких ножках стоит совсем крошечный малыш в чепчике, очень довольный и ни за что не желает садиться. Время от времени женщина вертит шарманку. Тогда малыш принимается топотать ножками, а девочка в зеленом воскресном платье пляшет и бьет в тамбурин, протягивая его к окнам.

Думаю, мне пора приняться за какую-то работу, раз я научился видеть. Мне двадцать восемь лет, а почти ничего не сделано. Припомним: я написал этюд о Карпаччо[14 - Витторе Карпаччо (ок. 1455-ок. 1525) – венецианский художник.], и скверный этюд, драму, которая называется «Супружество» и призвана доказать ложную мысль не лучшими средствами, и кое-какие стихи. Ах, но что пользы в

стихах, написанных так рано! Нет, с ними надо повременить, надо всю жизнь собирать смысл и сладость, и лучше долгую жизнь, и тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками удачными. Стихи ведь не то, что о них думают, не чувства (чувства приходят рано), стихи – это опыт. Ради единого стиха нужно повидать множество городов, людей и вещей, надо понять зверей, пережить полет птиц, ощутить тот жест, каким цветы раскрываются утром. Надо вспомнить дороги неизвестных стран, нечаянные встречи, и задолго чуемые разлуки, и до сих пор неопознанные дни детства, родителей, которых обижал непониманием, когда они несли тебе радость (нет, та радость не про тебя), детские болезни, удивительным образом всегда начинавшиеся с мучительных превращений, и дни в тишине затаившихся комнат, и утра на море, и вообще море, моря и ночи странствий, всеми звездами мчавшие мимо тебя в вышине, но и этого еще мало. Нужно, чтобы в тебе жила память о несчетных ночах любви, из которых ни одна не похожа на прежние, о криках женщин в любовном труде и легких, белых, спящих, вновь замкнувшихся роженицах. И нужно побыть подле умирающего, посидеть подле мертвого, в комнате, отворенным окном ловящей прерывистый уличный шум. Но мало еще иметь воспоминанья. Нужно научиться их прогонять, когда их много, и, набравшись терпения, ждать, когда они снова придут. Сами воспоминания ведь мало чего стоят. Вот когда они станут в тебе кровью, взглядом и жестом, безымянно срастутся с тобой, вот тогда в некий редкостный час встанет среди них первое слово стиха и от них отойдет.

Мои же стихи все получались иначе, стало быть, и не стихи. А когда я писал драму – куда меня занесло? Глупец я или слепой подражатель – зачем мне понадобился третий, чтобы рассказать о судьбе двоих, терзающих друг друга? Да, легко я попался на удочку. А мне бы знать, что этот третий, заполонивший нашу жизнь и нашу литературу, этот призрак того, чего не было никогда, – совершенно лишней и пора от него отделаться. Он – одна из уловок природы, вечно старающейся нас отвлечь от своих глубочайших тайн. Он – ширма, за которой разворачивается драма. Он – шум у входа в безмолвие подлинных перипетий. Надо полагать, всем до сих пор казалось чересчур мучительно говорить о тех двоих, в которых суть; с третьим же, именно в силу его выдуманности, куда как легко, с ним справится всякий. И с самого начала в драмах проглядывает нетерпение, там ждут не дождутся третьего. Он является – и все идет как по маслу. Но до чего же томительно, когда он запаздывает, без него ничего решительно не происходит, все запинается, стопорится, стоит. А ну как продлился бы этот застой? Что, господин драматург, что, поднаторевшая публика, что, если б он провалился в тартарары, твой любимый светский хлыщ или юный проказник, как отмычка, взламывающий любое супружество? Что, если б его, к примеру, черт побрал? Вот предположим. Тотчас обнаруживаются

противоестественные пустоты театров, их огораживают, точно опасные люки, и только моль ссыпается с барьеров лож в пропасть партера. Драматурги уже не благоденствуют в роскошных кварталах. Все сыскные агентства ищут для них незаменимого, без которого не быть действию.

А меж тем они живут ведь среди нас, не эти «третьи», но двое, о которых небывало многое бы можно сказать, и, однако ж, ничего до сих пор не сказано, хотя они мучатся, совершают поступки, все больше запутываются.

Смешно. Вот сижу я в своей каморке, я, Бригге, которому двадцать восемь лет и о котором ровно никто не знает. Я здесь сижу, и я – ничто. И, однако же, это ничто начинает думать у себя, на пятом этаже, в серый парижский денек, и додумывается до такого:

Возможно ли, думает оно, что все существенное и нужное еще не увидено, не опознано и не сказано? Что тысячелетия, которые были отпущены нам на то, чтоб смотреть, размышлять и записывать, промелькнули школьной переменкой, когда едва успеваешь проглотить бутерброд и яблоко?

Да, возможно.

Возможно ли, что, невзирая на прогресс и открытия, культуру, религию, философию, мы застряли на житейской поверхности? Что даже и поверхность эту, которая хоть что-то да могла собой выражать, мы затащили такой непереносимо скучной материей, что она смотрит гостиной мебелью, когда хозяева уехали на лето?

Да, возможно.

Возможно ли, что вся история человечества ложно истолкована? Что все прошедшее искажено, ибо нам вечно толкуют о массах, тогда как дело совсем не в толпе, а в том единственном, вокруг кого она теснилась, потому что он был ей чужд и он умирал?

Да, возможно.

Возможно ли, что мы вообразили, будто нам следует наверстать все, случившееся до нашего рождения? Что каждому вдалбливают, что он – продолжение всех, кто был до него, и обязан это помнить, и ни-ни не давать себя переубедить тем, кто считает иначе?

Да, возможно.

Возможно ли, что люди до мелочей знают прошлое, какого и не существовало? Что действительность ничего не значит для них, что жизнь их идет, не сообразуясь ни с чем, как в пустой комнате часы?

Да, возможно.

Возможно ли, что мы ничего не знаем о девушках, а они живут ведь на свете? Что мы говорим «женщины», и мы говорим «дети», «мальчики», не подозревая (при всей нашей образованности не подозревая), что слова эти давно затеряли свое множественное число в несчетной россыпи единиц?

Да, возможно.

Возможно ли, что есть люди, которые, говоря о Боге, понимают одно и то же? Вообразите двух школьников. Один покупает перочинный ножик, и приятель его в тот же день покупает точно такой же. Через неделю они эти ножики сравнивают, и выясняется, что они почти непохожи, – так разнó сложилась судьба их в разных руках. (А то как же, скажет мать одного, вечно вам сразу все пустить в дело...) Вот оно что... Но возможно ли предположить, что, имея Бога, ты к нему не прибегнешь?

Да, возможно.

Но если все это и впрямь возможно, если тут есть хоть тень возможности, нельзя же, чтоб так оставалось! И первый, кого ошарашила эта мысль, должен попытаться что-нибудь предпринять, пусть даже он и не наиболее подходит для этой цели: другого-то нет под рукою. И молодой неприметный иностранец Бригге должен усесться за стол у себя на пятом этаже и писать день и ночь напролет, да, надо писать, вот и все.

Было мне тогда лет двенадцать, никак не больше тринадцати. Отец взял меня с собою в Урнеклостер. Уж не знаю, зачем понадобилось ему наведаться к тестю. Они не видались давно, с самой смерти моей матери, и отец не бывал в старом замке, куда лишь незадолго до того удалился от света старый граф Брае. Я никогда потом уж не видел удивительного дома, который по смерти деда перешел в чужие руки. Детское воображение не вверило его моей памяти цельной постройкой. Он весь раздробился во мне; там комната, там другая, а там отрывок коридора, но коридор этот не связывает двух комнат, но остается сам по себе, отдельным фрагментом. И так разъединено во мне все – залы, степенный спуск ступеней и другие, юркие вьющиеся лесенки, которые, как кровь по жилам, гонят тебя во тьме; башенные покои и повисающие над высотой галереи, неожиданные террасы, на которые тебя швыряют вдруг маленькие дверцы, – все это до сих пор во мне и будет во мне всегда. Будто образ дома упал с безмерной высоты на дно моей души и там разбился.

Целой удержалась в моем сердце, кажется, только столовая, в которой мы каждый вечер в семь часов сходились обедать. Я ни разу не видел ее днем, не помню даже, были ли там окна и куда они выходили; когда являлась семья, уже неизменно горели свечи в тяжелых шандалах, и тотчас забывалось время дня и все виденное снаружи. Этот высокий и, вероятно, сводчатый зал был сильнее всего; сумрачной своей высотой, затененными углами он вымогал у тебя все образы, ничего точно очерченного не предлагая взамен. Ты будто в нем растворялся, оставался без воли, разума и желаний, без защиты. Делался пустым местом. Помнится, сперва от этой моей отмененности меня мучила почти дурнота, нечто вроде морской болезни, которую я превозмогал, вытягивая ногу и касаясь колена сидевшего напротив отца. Лишь позже пришло мне в голову, что он понимал или по крайней мере терпел мой странный маневр, хотя отношения наши были скорее прохладны и, казалось, не допускали подобных выходок. Так или иначе, это тихое соприкосновение давало мне силы выдерживать долгие трапезы. И через несколько недель судорожного терпенья с почти непостижимой детской гибкостью я так принооровился к жути этих собраний, что почти без труда высиживал за столом два часа; они проходили даже сравнительно быстро, ибо я занимался тем, что наблюдал присутствующих.

Мой дед называл их «семья», и другие, я слышал, тоже пользовались этим обозначеньем, впрочем, вполне произвольным. Ибо, хоть и находясь в отдаленном родстве, четверо за столом мало имели общего. Дядюшка, сидевший со мною рядом, был старик с жестким и смуглым лицом в черных отметинах – следствие, как потом я узнал, порохового взрыва; хмурый, всегда недовольный, он вышел в отставку майором и теперь занимался алхимией где-то в неведомых

мне покоях замка и, как узнал я от слуг, был в сношениях с острогом, откуда раза два в году ему поставляли трупы, и он просиживал тогда дни и ночи, препарируя их таинственным образом так, чтоб они не давались распаду. Напротив него помещалась фрейлейн Матильда Брае. То было безвозрастное создание, дальняя родственница моей матери, примечательная лишь тем, что она состояла в усердной переписке с неким австрийским спиритом, именовавшим себя барон Нольде, и подчинялась ему во всем, ничего решительно не предпринимая без его совета или, верней, своего рода благословения. К тому времени она ужасно раздалась, и рыхлая, ленивая ее полнота небрежно вливалась в широкие яркие платья; жесты у нее были вялы и невыразительны, и постоянно слезились глаза. И однако, что-то в ней напоминало о хрупкой, стройной моей матери. Чем дольше я ее наблюдал, тем больше различал тонкие, тихие черты, которых не мог хорошенько вспомнить после смерти тата, и лишь после того, как я ежедневно разглядывал Матильду Брае, я наконец вспомнил, как выглядела умершая; может быть, даже впервые узнал. Лишь тогда сотни и сотни частности в образе покойной слились во мне в тот образ, с которым я не расстаюсь. Потом я понял, что в лице фрейлейн Брае совмещались те частности, которые определяли дорогие мне черты, только меж ними словно втиснулось чужое лицо, и они сместились, разъехались и уже не составляли целого.

Подле этой дамы сидел сын какой-то кузины, мальчик почти одних со мною лет, но тщедушной и меньше ростом. Белая тонкая шея его вылезала из плоеного ворота и пряталась под вытянутым подбородком. Губы были узкие и плотно сжаты, ноздри тихонько подрагивали, а из прекрасных темно-карих глаз поворачивался только один. Частенько он поглядывал на меня через стол спокойно и грустно, тогда как другой был неподвижно уставлен в угол, будто списанный и забытый.

Во главе стола стояло огромное кресло деда, которое слуга, не имевший иных обязанностей, пододвигал для него и в котором совершенно терялась маленькая фигурка графа. Были люди, величавшие тугоухого и крутого барина превосходительством и гофмаршалом, другие называли его генералом. И он, вне сомненья, был носителем всех этих почестей, но так давно отошел от дел, что обращения казались почти непонятны. Мне вообще представлялось, что мгновеньями ярко проглядывавшая и тотчас вновь туманившаяся его индивидуальность не покрывалась никакими наименованиями. Я не решался называть его дедушкой, хоть подчас он бывал благосклонен ко мне, а иной раз даже к себе подзывал, норовя шутливо выговаривать мое имя. Впрочем, вся семья относилась к графу с почтением, приправленным робостью, и только

маленький Эрик пользовался, кажется, доверенностью дряхлого хозяина дома; подвижный его глаз бросал ему, случалось, быстрый заговорщический взгляд, на который дед отвечал с таким же проворством; нередко в медленные послеполуденные часы их наблюдали в дальнем конце галереи, где они прогуливались рука об руку мимо темных старых портретов и молчали, бог весть каким способом сообщаясь.

Я же чуть не целыми днями пропадал в парке, а то в буковой роще или на лугу; к счастью, в Урнеклостере были собаки, они сопровождали меня; то и дело я набредал на ферму или мызу, там подкрепаялся хлебом, фруктами и молоком и, кажется, беспечно наслаждался свободой, не даваясь жутким мыслям о вечерних сходках, по крайней мере в первые недели. Я почти ни с кем не разговаривал, и одиночество было моей отрадой; только с собаками вел я немногословные беседы, и мы превосходно понимали друг друга. Молчаливость, пожалуй, наша семейная черта. Я привык к молчанью отца, и меня не удивляло, что за столом здесь не ведутся беседы.

В первые дни по нашем приезде Матильда Брае, впрочем, была весьма словоохотлива. Она расспрашивала отца о старых знакомых в городах за границей, предавалась давним воспоминаниям и трогала самое себя до слез, вызывая образы покойных подруг и некоего молодого человека, который, как она намекала, ее любил, но она не сумела ответить на его верные безнадежные чувства. Отец слушал учтиво, иногда понимающе склонял голову и отвечал только при крайней необходимости. Граф во главе стола не переставал улыбаться горестным ртом, и лицо его казалось больше обыкновенного, будто на него надели маску. Время от времени он вставлял свое слово, и ни к кому в отдельности не обращенный голос его, хоть и тихий, отдавался по всему залу; он был размерен и равнодушен, как ход часов; на него отзывались провалы тишины – равные после каждого слога.

Граф Брае почитал особой любезностью говорить с моим отцом о его покойной супруге, моей матери. Он называл ее графиней Сибиллой, и каждая его фраза заканчивалась как бы вопросом о ней. Уж не знаю почему, но мне казалось, что речь идет о совсем юной девочке в белом, которая вот-вот среди нас объявится. В том же тоне говорил он при мне о «нашей маленькой Анне-Софи». И когда я однажды спросил, кто эта фрейлейн, которую, кажется, так любит дедушка, мне объяснили, что он понимает дочь Великого Канцлера Конрада Ревентлова, некогда морганатическую супругу Фридриха Четвертого[15 - Фридрих IV – датский король (1699–1730).], уже полтора столетия покоящуюся в Роскилле[16 -

Роскилле – собор XIII века, где находится усыпальница членов датской королевской фамилии.]. Хронология для него не играла ровно никакой роли, смерть была безделицей, которой он не замечал, люди, которых однажды он включил в свою память, продолжали существовать, и кончина их решительно ничего не меняла. Спустя несколько лет, уже после его смерти, рассказывали, что с тем же упорством он и будущее считал настоящим. Говорят, он беседовал с некоей молодой дамой о ее сыновьях и особенно распространялся о путешествиях одного из них, покуда молодая особа на третьем месяце первой беременности чуть не в обмороке, сама не своя от ужаса слушала неумолкавшего старика.

Но тогда началось с того, что я рассмеялся. Да, я громко хохотал и не мог с собой сладить. Однажды вечером Матильды Брае не было за столом. Дряхлый, почти совсем ослепший лакей, подойдя к ее месту, однако же, протянул блюдо к пустому прибору. Так он постоял немного; затем, достойно и важно, будто все в совершенном порядке, он двинулся дальше. Я видел эту сцену, и покуда я ее наблюдал, она мне вовсе не казалась комической. Но позже, когда я уже сидел с набитым ртом, меня внезапно так разобрал смех, что я поперхнулся и наделал шуму. И как я ни терзался, как ни настраивался изо всех сил на серьезный лад, меня трясло от смеха и я ничего не мог поделать.

Отец, очевидно прикрывая мою невоспитанность, спросил своим четким, глуховатым голосом: «Что Матильда – больна?» Дедушка усмехнулся обычной своей усмешкой и ответил фразой, которой тогда, занятый собой, я не придавал значения и которая звучала приблизительно так: «Нет, она попросту не желает встречаться с Кристиной». Не связал я этих слов и с тем, что темнолицый майор, мой сосед, вскочил, что-то пробормотал себе в оправданье, поклонился графу и выбежал из столовой. Я удивился только, когда уже в дверях он повернулся и за спиной у хозяина дома стал кивать Эрику, а потом, к совершенному моему недоумению, даже и мне, как бы приглашая нас за ним следовать. Тут я до того изумился, что смех меня отпустил. Впрочем, я тотчас забыл про майора; он мне не нравился, и к тому же я замечал, что его не жалует маленький Эрик.

Трапеза влеклась как всегда, и мы добрались до десерта, когда взгляды мои привлекло и приковало то, что происходило в полутьме, в дальнем углу столовой. Там постепенно отворялась вечно закрытая и, как мне говорили, ведущая на антресоли дверь, отворялась, пока я на нее смотрел с прежде не изведанным чувством ошеломленного любопытства, отворилась наконец, и во тьму проема ступила стройная дама в светлом и двинулась прямо на нас. Не

знаю, дернулся я, издал ли какой-нибудь звук; лишь грохот упавшего стула заставил меня оторвать взгляд от странной фигуры, и я увидел отца – он вскочил и, бледный как смерть, уронив вдоль тела сжатые в кулаки руки, двинулся даме навстречу. Она меж тем, ничего не замечая, приближалась к нам шаг за шагом, почти подошла уже к графу, и тут он поднялся рывком, схватил отца за руку, пригнул к столу и так держал, покуда незнакомая дама медленно и безучастно продвигалась сквозь освобожденное пространство, шаг за шагом, сквозь неописуемую тишину, в которой звякал, трясаясь, бокал, и скрылась за дверью в противоположном конце столовой. И тогда я увидел, как маленький Эрик, склонясь в глубоком поклоне, притворяет за ней эту дверь.

Я единственный остался сидеть за столом; меня словно придавило к стулу, я вообще уж не чаял с него подняться. На какой-то миг я будто ослеп. Но вот я снова увидел отца. Лицо его было теперь злое, налилось кровью. А старик все не отпускал его руку, как белые когти, вонзив в нее свои пальцы и усмехаясь всегдашней маскоподобной усмешкой. Потом я услышал, как он говорил что-то, и я различал каждый слог, но не понимал смысла сказанного. Однако слова его, верно, прочно легли мне на душу, потому что года два тому назад я отрыл их в памяти и узнал. Слова были:

– Ты горяч, камергер, и неучтив. Зачем мешать человеку идти по его надобностям?

– Кто это? – выкрикнул отец.

– Кое-кто, кому и надлежит здесь быть. Не чужая. Кристина Брае.

И опять в странно тонкой тишине забило дрожью бокал. Тут мой отец резко рванулся и бросился прочь из столовой.

Всю ночь я слышал, как он мерил шагами комнату; я и сам не мог уснуть. Но под утро я вдруг очнулся от странной полудремы, и меня парализовало ужасом что-то белое, присевшее на краю постели. Наконец, в отчаянии набравшись сил, я уткнулся в одеяло и тогда уж разрыдался от беспомощности и страха. Вдруг на мои плачущие глаза повеяло чем-то прохладным и светлым; и чтоб ничего не видеть, я сомкнул их в слезах. Но голос, теперь уж совсем близкий, тихонько и сладковато дохнул мне в лицо, и я узнал его: то был голос фрейлейн Матильды. Тотчас я успокоился, но тем не менее давал себя успокаивать дальше; чувствуя

рыхлость и вялость этой доброты, я, однако, с наслаждением ей предавался, почему-то уверенный, что ее заслужил.

– Тетя, – сказал я наконец, пытаюсь собрать по ее растекшемуся лицу черты шашап, – тетя, кто была эта дама?

– Ах, – отвечала фрейлейн Брае со вздохом, показавшимся мне смешным, – это одна несчастная, мальчик, одна несчастная.

Наутро я заметил, что слуги в дальней комнате укладывают вещи. Я решил, что мы уезжаем, мне казалось совершенно естественным, что теперь мы уедем. Таково, верно, и было сперва намерение отца. Я никогда не узнал, что побудило его остаться после того вечера в Урнеклостере. Но мы не уехали. Мы еще почти два месяца оставались в этом доме, терпя гнет его странностей, и мы еще трижды видели Кристину Брае.

Я тогда ничего не знал об ее истории. Я не знал, что она давно-давно умерла вторыми родами, оставив ребенка, сына, его страшной и темной судьбе, – я не знал, что она мертвая. Но отец это знал. Решился ли он, сочетавший страстный нрав со стремлением к логике и ясности, решился ли он с терпением и без прекословий подвергнуться испытанию? Я видел, не понимая, как он себя перебарывал, я почувствовал, не осознав, как он себя победил.

В тот вечер мы в последний раз видели Кристину Брае. На сей раз фрейлейн Матильда тоже явилась к столу; но она была сама не своя. Как в первые дни по нашем приезде, она болтала без умолку, без связи, то и дело сбиваясь, и какое-то физическое беспокойство заставляло ее непрестанно поправлять то платье, то прическу, и вдруг с тонким, жалобным криком она вскочила и убежала.

В тот же миг глаза мои невольно повернулись к известной двери, и в самом деле: вошла Кристина Брае. Мой сосед майор быстро, резко дернулся, так, что это передалось мне, но у него, верно, не достало силы подняться. Темное, старое, испятнанное лицо поворачивалось от одного к другому, рот был разинут, и за испорченными зубами дергался язык; потом лицо вдруг исчезло, и на столе лежала седая, серая голова, над ней и под ней, будто переломанные, лежали руки, и откуда-то тянулась вверх и тряслась испятнанная завялая кисть.

А Кристина Брае медленно, как больная, проходила сквозь неопишную тишину, в которую вторгался один-единственный звук – поскуливание старого пса. Но вот слева от большого, наполненного нарциссами серебряного лебедя поднялась большая маска старика с серой усмешкой. Он потянулся бокалом к отцу. И я увидел, как мой отец в тот самый миг, когда Кристина Брае проходила у него за стулом, схватил свой бокал и, как тяжесть, еле оторвал от стола.

В ту же ночь мы уехали. Bibliotheque Nationale. Я сижу и читаю поэта. В зале много людей, но их не замечаешь. Они – в своих книгах. Время от времени они пошевеливаются между страниц, как спящий между двух снов поворачивается во сне. Ах, как же хорошо быть среди читающих. Отчего люди всегда не такие? Подойди к кому-нибудь, тронь за плечо – он ничего не заметит. А если, вставая, ты заденешь соседа и извинишься, он кивнет в сторону твоего голоса, обратит к тебе невидящее лицо, и волосы у него – как волосы спящего. Как же от этого хорошо на душе. И я здесь сижу, и у меня – мой поэт. Вот судьба. В зале сейчас человек триста читающих; но мыслимо ли, чтобы у каждого был свой поэт? (Господь ведаёт, что там у них у каждого.) Трехсот поэтов и не наберется. Подумайте, какая судьба. Я, может быть, самый жалкий из этих читающих, иностранец, и у меня – мой поэт. Хоть я беден. Хоть на костюме, который я бессменно таскаю, кой-какие места подозрительны, хоть против моих башмаков можно кое-что возразить. Правда, воротник у меня чистый и белье, и в таком виде я могу зайти в любую кофейню даже и на больших Boulevards[17 - Бульварах (франц.)], преспокойно запустить руку в блюдо с пирожными и угоститься. И в этом не усмотрят ничего необычного, меня не обругают, не выставят вон, потому что рука эта – все еще рука человека из приличного общества, руку, которую моют четыре-пять раз на дню. Да, под ногтями чисто, не испачкан чернилами средний палец и, главное, безупречны запястья. Бедняки не моют рук так высоко, это дело известное. Кое-какие выводы можно сделать из безупречности этих запястий. Их и делают. Делают в лавках. Но есть две-три личности на Boulevard Saint-Michel[18 - Бульваре Сен-Мишель (франц.) – в Париже.], например, и на rue Racine[19 - Улице Расина (франц.) – в Париже.], которых не проведешь, которым плевать на мои запястья. Они смотрят на меня и все понимают. Они понимают, что я – свой и только разыгрываю комедию. Недаром ведь масленица. Им и не хочется портить мне музыку. Они ухмыляются и подмигивают. Совсем незаметно. Вообще же они обращаются со мною как с баринoм. А когда кто-то случится поблизости, и вовсе делаются подобострастны. Ведут себя так, будто на плечах у меня меха, а рядом медлит собственный экипаж. Иной раз я подаю им два су и дрожу, как бы они не отказались принять; но они принимают. И все б ничего, если б только они не ухмылялись и не подмигивали. Кто они? Чего им от меня надо? Может быть, они меня

подстерегают? И почему узнают? Правда, борода у меня немного запущенная и чуть-чуть, самую малость, напоминает их хилые, старые, блеклые бороды, всегда огорчающие меня. Но разве я не вправе забыть о своей бороде? Многие занятые люди забывают о своей бороде, и, однако ж, никому не приходит в голову из-за этого зачислять их в отребье. Мне ведь ясно, что это отребье, не просто нищие; да они и не нищие вовсе, тут надо делать различие. Они – отбросы, кожура человеческая, сплюснутая судьбой. Мокрые от ее слюны, они липнут к фонарям и стенам, к афишным тумбам или медленно стекают по улице, оставляя темный, грязный след. Господи, ну что понадобилось от меня той старухе, которая выволокла из какой-то дыры свой несусветный лоток с пуговицами и иголками? Зачем она пошла рядом, не спуская с меня глаз? Будто силясь меня опознать гноящимися глазами в багровых веках, как заплеванных чахоточной зеленой мокротой? И зачем та седая маленькая простояла со мной у витрины битых четверть часа, показывая мне старый длинный карандаш, бесконечно медленно выползавший из гадких, скрюченных пальцев? Я прикинулся, будто разглядываю разложенные в витрине товары и ничего не заметил. Но она-то знала, что я заметил ее, знала, что я стою и ломаю голову над тем, что она такое выделяет. Потому что я прекрасно понял, что суть не в карандаше: я чувствовал, что это какой-то знак, известный отребью; я подозревал, что она манит меня куда-то, на что-то толкает. И самое странное – я догадывался о действительности договора, определившего этот знак, и не мог отделаться от ощущения, что тут нечему удивляться.

Это было две недели тому назад. А теперь дня почти не проходит без такого подвоха. И не то что в сумерках – среди бела дня, на самых людных улицах появляется вдруг маленький человечек или старуха, кивает, что-то мне показывает и вновь исчезает, будто сделав свое дело. Когда-нибудь им еще взбредет ввалиться ко мне в комнату, они ведь знают, конечно, где я живу, им ничего не стоит подольститься к консьержу. Но здесь, голубчики, здесь вам до меня не добраться. Надо иметь особый пропуск, чтоб сюда проникнуть. Вот мое преимущество – пропуск. Несколько боязливо, естественно, я пробираюсь по улицам, но наконец я стою у стеклянной двери, я толкаю ее, как у себя дома, у второй двери показываю свой пропуск (в точности как вы мне показываете свои вещи, но с той разницей, что меня-то сразу можно понять, не ломая голову) – и вот я уже среди этих книг, я у вас отнят, как умер, я сижу и читаю поэта.

Вы не знаете, что такое – поэт? Верлен... Ничего не говорит? Решительно не припомните? Нет. Вы не выделили его среди тех, кого знали? Выделять вы не умеете, это известно. Но я читаю другого поэта, который и не в Париже живет, совсем, совсем другого поэта[20 - Имеется в виду французский поэт Франсис

Жамм (1868–1938), большую часть жизни проведший в своих родных Пиренеях.]. Который звенит, как колокол в чистый день. Счастливого поэта, который рассказывает про свое окно и про стекла книжных шкафов, задумчиво повторяющие милые одинокие дали. Вот каким поэтом мне хотелось бы стать; он так много знает о девушках, и я тоже знал бы о девушках много. Он знает о девушках, которые жили сто лет назад; и неважно, что они умерли, раз он все о них знает. Это главное. Он выговаривает их имена, тихие имена, стройно выписанные длинными, старинно петлистыми буквами, и повзрослевшие имена их старших подруг, в которых звенит легкий призыв судьбы, легкий призыв беды и смерти. Быть может, в бюро красного дерева хранятся у него их пожелтые письма и разрозненные листочки из дневников, где описаны дни рожденья, пикники, дни рожденья. И кто знает, нет ли в пузатом комоду у него в спальне ящика, где лежат их весенние платья; белые платья, обновленные на Пасху, кисейные, в мушках, собственно, летние, но терпенья не было дожидаться. Счастливая судьба – сидеть в тихой комнате, в наследственном доме, среди оседлых, ручных вещей, слушать синиц, пробующих голоса в зеленой прохладе сада, и бой деревянных часов вдалеке. Сидеть, разглядывать карминную полоску заката, многое знать о минувших девушках – быть поэтом. И подумать: я тоже бы мог стать поэтом, найдись у меня жилье, хоть где-то, в заколоченной забытой усадьбе. Мне хватило бы одной-единственной комнаты (светлой комнаты в мезонине). Там я жил бы со своими старинными вещами, семейными портретами, книгами. У меня было бы кресло, и собаки, и крепкая палка для кремнистых путей. И больше ничего. Нет, еще одна тетрадь в кожаном, желтоватом, как слоновою костью, переплете с цветистой изнанкой: в ней бы я писал. Я писал бы много – у меня было бы много мыслей и воспоминаний. Но вышло иначе. Господь ведаёт – почему. Моя старинная мебель гниёт в сарае, куда мне позволили её свалить, а сам я – да, боже ты господи, у меня нет крыши над головой, и дождь капает мне в глаза.

Бывает, я прохожу мимо лавчонок, на rue de Sein[21 - Улице Сены – в Париже.] например. Торговцы древностями, старыми книгами, гравюрами, загромождающими витрины. К ним никто не заходит, видно, они прогорают. Но загляните вовнутрь, и вы увидите, как они сидят и преспокойно читают; не пекутся о завтрашнем дне, об удаче, и пес уютно расположился рядом, у ног, а кот крадется вдоль книжных рядов, будто намереваясь стереть с корешков имена.

Довольствоваться бы этим. Я, бывает, мечтаю купить вот такую заваленную витрину и в ней просидеть двадцать лет со своим псом.

Хорошо, конечно, сказать вслух: «Ничего страшного». И снова: «Ничего страшного». Но что толку?

Что печь у меня чадит и пришлось выйти на улицу – и впрямь небольшая беда. Что я устал и продрог – совершенный пустяк. Сам виноват, что весь день плутал по улицам. Прекрасно мог отсидеться в Лувре. Но нет, это невозможно. Есть люди, которые именно ходят туда погреться. Сидят на бархатных скамеечках, и ноги, как пустые сапоги, в ряд стоят на решетке отопления. Чрезвычайно скромные люди. Они благодарны служителям в темных мундирах и бляхах за то, что они их не гонят. Но стоит войти мне – они ухмыляются. Ухмыляются и подмигивают. И когда я прохаживаюсь вдоль картин, они не спускают с меня взгляда, слитного, переболтанного взгляда. И хорошо, что я не пошел в Лувр. Я все бродил. Господи, где я только не побывал, в каких городах, деревнях, на каких мостах, переездах, заставах! Где-то видел я человека, который толкал перед собой тележку с зеленью. Он кричал: «Chou-fleur, chou-fleur»[22 - Цветная капуста (франц.)], и в этом «йеиг» «ей» было странно безрадостное. С ним шла угловатая страшная женщина, она его то и дело подталкивала. Толкнет – и тогда он кричит. Иногда он и сам по себе кричал, но все невпопад, и сразу ему приходилось кричать снова, потому что рядом оказывался дом покупателя. Я сказал уже, что он был слепой? Так вот – он был слепой. Ну да, он был слепой, и он кричал. Но я привираю, когда так говорю, я сбрасываю со счетов тележку, которую он толкал, я делаю вид, будто не обратил внимания на то, что он выкрикивал цветную капусту. Но так ли уж это важно? А если и важно, то не из-за того ли, что значило для меня все вместе? Я видел старика, он был слепой, и он кричал. Вот что я видел. Видел.

Поверит ли кто, что бывают такие дома? Нет, скажут, я говорю неправду. Но на сей раз все правда, ничего не опущено и, уж конечно, ничего не присочинено. Да и откуда бы я их взял? Я же беден. Известно – я беден. Дома? Но если быть совсем точным, это были дома, которых уже нет. Которые снесли, снесли до основания. А были другие дома, те, что рядом, высокие, соседние. Им, очевидно, грозило рухнуть, раз все рядом снесли. Потому что целые леса из длинных осмоленных мачтовых досок, кренясь над загаженным пустырем, подпирали оголенную стену. Не помню, говорил я уже или нет, что за стену. Так вот, это была, так сказать, не первая стена наличных домов (как можно подумать), а последняя стена бывших. Была видна ее внутренняя сторона. Еще различались на разных этажах стены комнат, еще держались обои, кое-где – уступ пола или потолка. Вдоль обоев, по всей стене снизу доверху серела грязная полоса, и по ней невыразимо мерзко, змеино, пищеварительно корчилась голая ржавая труба для стока нечистот. Серые пыльные следы от газовых труб ползли по краям

перекрытий и, резко вильнув, вдруг перебирались на цветистую стену и ныряли в черную неряшливую дыру. Но больше всего запомнились сами стены. Стойкая жизнь комнат упрямо не желала сдаваться. Она не уходила, она цеплялась за уцелевшие гвозди, жалась к узким краям полов, устраивала засады в углах, стерегших бывшее комнатное пространство. Она держалась за цвета, которые год от году она меняла: голубой на плесневелую зелень, зелень – на серый, а желтый – на стоялую, протухшую белизну. Она томилась в квадратах, оставленных зеркалами, шкафами, картинами, потому что, тщательно и ревниво огораживая их контуры снова и снова, и в этих укромных местах не убереглась от пыли и паутины, когда они оголились. Она затаилась в каждой протертой полоске, в мокрых волдырях, взбухших по низу обоев, качалась на ободранных клочьях, лезла из гадких, стародавних пятен. И к прежде голубым, зеленым и желтым, разделенным остатками перекрытий, льнул воздух этой жизни, никакому ветру не дававшийся, спертый, вялый, затхлый. В нем стояли болезни, обеды, годами копившиеся вздохи, дым и пот, пятнавший подмышки и лубянивший платья, сивушная вонь невымытых ступней. В нем стояли едкость мочи, и серый картофельный чад, и тяжелая, скользкая горькость сала. Сладкий стойкий запах неухоженных сосунков, и запах школярского страха, и запах похоти от кроватей мужающих мальчиков. А много чего еще поднималось из уличной пропасти, много чего еще просочилось сверху с дождем, нечистым над городами. И много чего занесли прирученные домашние ветры, вечно слоняющиеся по одной и той же улице, и много еще было такого, что неизвестно откуда взялось. Я говорил уже, что все стены снесли, кроме последней? Про эту-то стену я и толкую все время. Подумают, будто я перед нею долго стоял; но нет же, чем угодно могу поклясться, я пустился бежать, как только ее узнал. В чем ведь ужас – я узнал ее. Я тут все узнаю, вот оно и входит в меня не спросясь, чувствуя себя во мне как дома.

Я несколько устал от всего этого, можно даже сказать, изнемог, и было уж слишком, чтоб он вдобавок меня поджидал. Он поджидал меня в маленькой cremerie[23 - Кафе (франц.)], где я собирался съесть глазунью: я проголодался, у меня с утра маковой росинки во рту не было. Но есть я не мог; яйца еще не зажарились, а меня понесло обратно на улицу в густой и вязкий кативший навстречу людской поток. Был уж вечер, и масленица, праздные люди толклись и толпились. Лица прихватило заревом витринных огней, смех тек из распяленных ртов, как гной из открытых ран. Они смеялись тем громче и тем теснее жались друг к другу, чем упрямей я пытался прорваться. Какая-то женщина за меня зацепилась шалью, ее притянуло ко мне, и грянул оглушительный хохот, я понимал, что и мне бы полагалось смеяться, но я не мог. Кто-то бросил мне в глаза конфетти, оно меня обожгло как хлыст. На

перекрестках, прижатые друг к другу, они застревали и нежно и зыбко раскачивались вверх-вниз, будто совокуплялись стоя. Но хоть они стояли, а я как безумный мчался по краю тротуара там, где в толчее была брешь, на самом деле продвигались они, я же не трогался с места. Потому что ничего не менялось; когда бы я ни поднял глаза, я видел все те же дома по одной стороне и напротив – витрины. Быть может, и вообще все стояло на месте, просто у меня и у них кружилась голова и потому только все ходуном ходило. Но у меня не было времени это обдумать, я взмок от пота, и во мне бродила глушащая боль, будто по крови проволакивалось что-то слишком большое и вздувало жилы. Вдобавок я чувствовал, что воздух весь вышел, я глотал лишь то, что отринули мои же легкие.

Но теперь уж все позади; я выстоял. Я сижу у себя в комнате подле лампы; немного холодно, я не решаюсь затопить печь. Вдруг снова начнет чадить и снова придется бежать на улицу? Я сижу и думаю: не будь я беден, я бы нанял другую комнату, комнату, где мебель была б не такая старая и помнила не так много жильцов. Сперва мне было не на шутку противно прислоняться головой к этому креслу; на зеленой обивке у него грязно-серая вмятина, приходившаяся, видно, впору любой голове. Долгое время я даже подкладывал под голову носовой платок; но потом мне надоели эти предосторожности; я обнаружил, что небольшое углубление в самый раз по моему затылку, как по мерке сделано. Но не будь я беден, я купил бы себе хорошую печь и топил бы чистыми, крепкими дровами, которые привозят с гор, а не этими бездарными tetes-de-moineau[24 - Букв, «воробьиные головы» (франц.). Каменный уголь в виде мелких катышков.], от которых спирает дух и путаются мысли. И потом, надо, чтоб кто-то убирал у меня без грубого шума и умел развести огонь так, как я люблю; а то я иной раз по четверть часа на коленках ползаю перед печью, кожа на лбу натягивается от жара, глаза жжет, на это уходят все силы, отпущенные мне на день, и немудрено, что потом, когда я появляюсь на люди, я уже совершенно беззащитен. Частенько, когда на улицах особенная толчея, я брал бы карету и катил бы спокойно мимо, и каждый день я бы ел у Дюваля... а не таскался бы по cremeries... Интересно, он тоже ходит к Дювалю? Нет. Там бы ему не дали меня дожидаться.

Умиравших в такие места не пускают. Умиравших? Я спокойно сижу в своей комнате; попробую спокойно разобраться в том, что со мною произошло. Всегда лучше выяснить все до конца. Итак, я вышел и сперва увидел только, что столик, за которым я обыкновенно сижу, уже кем-то занят. Я поклонился в сторону маленькой стойки, заказал себе еду и сел рядом. И тут я заметил его, хоть он и не шевелился. Его-то неподвижность я и заметил, и сразу я понял. Между нами

установилась связь, и я понял, что он застыл от ужаса. Что его парализовал ужас, ужас перед чем-то совершившимся в нем. Быть может, лопнул кровеносный сосуд, быть может, вот сейчас именно отравы, которой давно он боялся, проникла в сердце или огромный нарыв взошел в мозгу, как солнце, застыл белый свет. Неопишным усилием воли я принудил себя взглянуть на него снова, еще надеясь, что это одно воображение. Но тотчас я вскочил и кинулся вон; ибо я не ошибся. Он сидел в плотном черном пальто, уткнув серое стылое лицо в шерстяной шарф. Рот был замкнут, будто припертый грузом, и непонятно было, видят ли что-то глаза: запотевшие дымчатые очки скрывали их и чуть подрагивали. Ноздри раздулись, космы на впалых висках увяли, словно от непомерного жара. За ушами, длинными, желтыми, залегли огромные тени. Да, он знал, что сейчас он от всего отрешается, не от одних людей. Еще миг – и все утратит смысл: стол, чашка, стул, в который он вцепился, все будничное и привычное станет непревосхитимым, трудным и дальним. И он сидел и ждал, когда это случится. И уже не противился.

А я вот еще противлюсь. Хоть и знаю, что у меня сорвано сердце, что мне все равно не жить, даже если мои вороги оставят меня. Я говорю себе: «Ничего страшного», но ведь я потому и понял его, что в самом во мне что-то начало от всего отделяться и отдаляться. Мне всегда было страшно, когда об умирающем говорили: он уже никого не узнает. Я воображал, как одинокое лицо отрывается от подушки и ищет, ищет знакомых вещей, прежде виденных вещей, – и вокруг ничего нет. Будь мой страх меньше, я мог бы утешиться соображеньем, что можно ведь видеть все по-иному и жить, однако. Но мне страшно. Меня невыразимо страшит перемена. Я и с этим-то миром никак не освоюсь, где, кажется, так хорошо. Что же мне делать в другом? Я хотел бы остаться среди привычных понятий, а если уж неотменимо суждена перемена, пусть бы дали мне пожить среди собак, в их сходном, родственном нашему мире.

Покамест я могу все это писать и говорить. Но настанет день, когда рука моя отдалится от меня и собственной волей будет чертить слова, которые мне не подвластны. Настанет день иных постижений, и слова раздружатся, смыслы растают, как облака, прольются на землю дождем. Мне страшно, но покамест я еще будто предстою чему-то великому, и, помнится, со мною так часто бывало перед тем, как писать. Но на этот раз не я буду писать – меня напишут. Я – оборот, подлежащий вымарке и переделке. О, еще немного совсем, и я пойму и приму. Один шаг – и боль обратится в радость. Но я не способен на этот шаг, я упал, не могу подняться – я разбился. Всегда я надеялся, что вот-вот подоспеет помощь. И наконец она здесь, со мной, собственным моим почерком выписанная – услышаны мои ежевечерние молитвы. Все это я выписал из книг, чтобы стало

мне ближе, чтобы вышло будто мое собственное, из-под моего пера. И мне хочется снова, снова писать эти слова, стать на колени у моего стола и не просто читать их, а писать, писать, тогда они дольше будут со мною и каждое слово продлится и не сразу еще отзвучит.

«Mecontent de tout et mecontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Ames de ceux

que j'ai aimés, Ames de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde; et vous, Seigneur mon Dieu! accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise».[25 - Отрывок из «Стихотворений в прозе» Бодлера: «Наскуча всем, наскуча самим собой, я желал бы вновь обрести себя, вновь гордиться собой в тиши одиноких ночей. Души любимых мною, души воспетых мною, укрепите меня, даруйте силы, отдалите от меня ложь и едкий чад земли. А ты, о Господи Боже мой! Сподоби меня написать несколько счастливых стихов, которые бы мне доказали, что я не самый последний из людей, что я не хуже тех, кого презираю».]

«Люди отверженные, люди без имени, отребье земли! Их-то сделался я ныне песнью и пищею разговора их!

... они направляют гибельные свои пути ко мне...

... все успели сделать к моей гибели, не имея помощника.

... И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня.

Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя.

С великим трудом снимается с меня одежда моя; края хитона моего жмут меня...

Мои внутренности кипят и не перестают; встретили меня дни печали...

И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя – голосом плачевным»[26 - Библия. Книга Иова. 30:8 – 31.].

Доктор не понял меня. Ничего не понял. Да и трудно было рассказывать. Решили попробовать лечение электричеством. Что же. Дали мне талончик: к часу явиться в Salperiere[27 - Сальпетриер – клиника в Париже.]. Явился. Миновал длинный ряд барачков, прошел несколько дворов, где люди в белых колпаках, как преступники, стояли под опустелыми деревьями. Наконец я оказался в длинном темном помещении вроде коридора, где по одной стене четыре тусклых зеленоватых окна перемежались широкими черными простенками. Под окнами тянулась деревянная скамья, и на ней сидели мои знакомцы, и они ждали. Да, все они были в сборе. Освоившись с полумраком, я разглядел, что среди плотного бесконечного ряда попадался, кажется, иной люд, просто мелкий люд – ремесленники, горничные, ломовые извозчики. Дальше, в узком конце коридора, развалившись на отдельных стульях, беседовали две толстухи, вероятно консьержки. Я глянул на часы: без пяти час. Еще пять, ну, десять минут, и меня вызовут. Что ж, ничего, ничего. Тяжкий, гнилой дух дыханья мешался с запахом старого платья. В одном месте из дверной щели рвался крепчайший холод эфира. Я принялся ходить взад-вперед. Вдруг я сообразил, что ведь меня направили на этот общий прием. Так сказать, впервые официально признали мою принадлежность к отребью. Значит, доктор догадался? Но я к нему приходил в пристойном костюме, я ему посылал свою карточку. А он все равно как-то узнал, или я сам себя выдал. Но поставленный перед фактом, я решил, что, в сущности, дело не так уж скверно. Все сидели смирно и не замечали меня. Некоторые страдали от боли и, раскачиваясь, старались ее утишить. Кто-то из мужчин уткнулся лицом в ладони, другие тяжело спали, и у этих были тупые, застылые лица. Толстяк с красной, взбухшей шеей сидел подавшись вперед, уставясь в пол и время от времени смачно плевал в облюбованную точку. Хлюпал в углу ребенок; длинные тощие ноги он подобрал под себя на скамье и тискал, будто навеки с ними прощался. Щуплая, блеклая женщина с черными цветами на съехавшей набок черной креповой шляпке удерживала улыбку на бедных губах, а слезы капали с больных век. К ней посадили девушку, круглолицую, гладкую, с выпученными глазами, лишенными выраженья; у нее был разинут рот, видны белые рыхлые десны и порченые старые зубы. И много было тут повязок. Повязки, слой за слоем окутывавшие голову, оставляя на виду лишь один, одинокий, уже ничей глаз. Были повязки, которые скрывали, и повязки, которые выпячивали то, что под ними. Бинты, которые развязались, и в них, как в грязной постели, лежала рука – уже не рука. А то забинтованная нога выпирала из ряда, огромная, как весь человек. Я ходил взад-вперед и пытался успокоиться. Я занялся стеною напротив. Разглядел, что в ней несколько одностворчатых дверей, что она не доходит до потолка и, стало быть, не совсем отделяет коридор от расположенных за нею комнат. Я глянул на часы: я уже час ходил взад-вперед. Потом явились доктора. Сперва прошмыгнули двое юнцов с

безразличными минами, и наконец тот, к которому я обращался, – в светлых перчатках, щегольской шляпе, безупречном пальто. При виде меня он приподнял шляпу и улыбнулся рассеянно. Теперь-то, я решил, меня сразу вызовут, но прошел еще час. Уж и не помню, чем я его заполнил, – он прошел. Появился старик в грязном фартуке, похожий на сторожа, и тронул меня за плечо. Я шагнул в одну из одностворчатых дверей. Мой доктор и двое юнцов сидели за столом и смотрели на меня. Мне пододвинули стул. Так. А далее я должен был отчитываться в том, что со мной приключилось. Как можно короче, *s'il vous plaot*[28 - Пожалуйста (франц.)]. Господам некогда. Мне сделалось не по себе. Юнцы оглядывали меня с высокомерным профессиональным участием, которому их учат. Мой знакомый доктор поглаживал черную острую бородку и улыбался рассеянно. Я думал, я расплачусь, но, против ожидания, вдруг услышал, как говорю по-французски: «Я уже имел честь, мосье, рассказать вам все в подробностях. Если вам представляется необходимым в них посвятить своих коллег, вы, разумеется, можете это сделать в немногих словах на основании нашей беседы, мне же это было бы трудно». Доктор поднялся с вежливым смешком, отвел ассистентов к окну и сказал им несколько слов, которые сопровождал горизонтально-волнистым трепетаньем ладоней. Через три минуты один юнец, близорукий и нервный субъект, метнулся к столу и спросил, стараясь придать строгости своему взгляду:

– Хорошо ли вы спите?

– Нет, плохо.

После чего он снова устремился к группе у окна. Они еще некоторое время посовещались, потом доктор вернулся ко мне и уведомил, что меня вызовут снова. Я заметил ему, что мне назначено было явиться к часу дня. Он усмехнулся и проделал белыми пухлыми ладонями ряд быстрых скачущих жестов, призванных означать, что он выше головы занят. И я вернулся в коридор, теперь еще более затхлый, и принялся снова мерить его шагами, хотя смертельно устал. Наконец от влажных спутанных запахов меня стало мутить, я остановился у входной двери и чуть приоткрыл ее. Я увидел яркий день снаружи, высокое солнце, и мне невыразимо полегчало. Но тотчас меня окликнули. Особа, сидевшая за столиком в двух шагах, шипела на меня. Кто велел открывать дверь? Я отвечал, что задыхаюсь. Это уж мое дело, а дверь придется закрыть. Нельзя ли в таком случае отворить окно? Нет, это запрещается. Я решил возобновить свое хождение взад-вперед, оно отупляло меня, никому не причиняя вреда. Но особе за столиком теперь и это пришлось не по вкусу. Что у

меня – места нету? Да, к сожалению. Ходить запрещается. Придется поискать место. Одно-то наверняка найдется. И она оказалась права. Место тотчас нашлось – подле девушки с выпученными глазами. И я сел, чувствуя, что сейчас неотвратимо стрясется нечто ужасное. Слева от меня, значит, была та девушка с гнилыми деснами. Что было справа, я понял только несколько позже. То была недвижимая глыба, обладавшая лицом и тяжелой, застылой, громадной рукой. Обращенная ко мне сторона лица была пуста, лишена черт и воспоминаний, и, к моему ужасу, одежда на глыбе сидела как на обряженном покойнике. Так же свободно и безлично повязан был вокруг ворота галстук, и сюртук явственно напялен на безвольное тело кем-то другим. Рука, как ее выложили, так и лежала на брючине, и даже волосы, словно расчесанные обмывальщицей трупов, стлались туго и тускло, как шерсть на зверином чучеле. Я все это разглядел со вниманием, и мне пришло в голову, что мне недаром указано это место, ибо пора уж понять, что я достиг в своей жизни станции назначения. Да, странными путями бродит судьба.

Вдруг совсем близко несколько раз подряд испуганно, сдавленно вскрикнул ребенок, а потом тихонько, удерживаясь, зарыдал. Пока я силился определить, откуда идет звук, снова затрепетал слабенький задушенный крик, и я услышал спрашивающие голоса, приглушенный властный голос, и где-то, ни на что не обращая внимания, безразлично зашуршала машина. Тут я вспомнил о не доходящей до потолка перегородке и понял, что звуки идут из-за дверей и там ведется работа. В самом деле, время от времени появлялся служитель в грязном фартуке и делал знак. Я уж и надеяться перестал, что он может относиться ко мне. Хотя – не ко мне ли? Нет. Появились двое с каталкой. Погрузили в каталку глыбу, и тут только я разглядел, что это старик паралитик, обладавший и другой, опавшей, изношенной стороной лица с открытым, мутным, тоскливым глазом. Его увезли за дверь, рядом со мною сразу освободилось много места. И я стал гадать, что, интересно, станут они делать со слабоумной девушкой, будет ли она тоже кричать. Машина за стеной урчала мирно, уютно, как фабричный станок, не предвещая зла.

Но вдруг все замерло, и в этой тишине надменный, самодовольный голос, показавшийся мне знакомым, произнес:

– Riez![29 - Смейтесь! (франц.)]

Пауза.

- Riez. Mais riez, riez[30 - Смейтесь. Смейтесь, смейтесь же (франц.)].

Я уже хохотал. Было необъяснимо, отчего упорствует тот, за перегородкой. Машина зажужжала, тотчас захлебнулась. Был обмен замечаниями, затем прежний энергичный голос вновь возвысился и приказал:

- Dites-nous le mot: avant[31 - Скажите нам слово: вперед (франц.)].

И по складам:

- A-vant[32 - Вперед (франц.)].

Тишина.

- On n'entend rien. Encore une fois...[33 - Ничего не слышно. Еще раз... (франц.)].

И вот под рыхлый и теплый лепет за перегородкой впервые после многих, многих лет ко мне вернулось оно. То, что вселило в меня первый глубокий ужас, когда ребенком я лежал в жару: Большое. Да, так твердил я, когда мою кроватку обступили, мне щупали пульс, спрашивали, что меня напугало: Большое. И когда послали за доктором, он пришел, успокаивал меня, я просил только об одном – прогнать Большое и ничего мне тогда не надо. Но он был как все. Он не мог его прогнать, хоть я был такой маленький и помочь мне было так просто. И вот снова оно тут. Потом оно оставалось вдали, даже в горячечные ночи оно меня не посещало, и вот снова оно тут, хоть у меня нет жара. Оно снова явилось. Разрасталось во мне как опухоль, росло из меня, как вторая голова, было неотторжимо от меня, хотя не могло быть моей частью – такое большое. Как огромный мертвый зверь, который раньше, живьем, был рукой моей или ногою. И моя кровь обращалась во мне и в нем как в одном общем теле. И сердце мое с неимоверным усилием проталкивало кровь в Большое. И уже не хватало крови. И она нехотя втекала в Большое и возвращалась – больная, отравленная. А Большое вспухало, взбухало на моем лице как горячая синяя шишка, росло изо рта, и тень от его края уже легла на мой уцелевший глаз.

Не помню, как я унес ноги всеми теми дворами. Был вечер, я плутал по чужим местам, брел бульварами, вдоль бесчисленных стен, все в одну сторону, но этому не было конца, и я брел обратно, и я вышел на какую-то площадь. Свернул в какую-то улицу, и там оказались еще незнакомые улицы, еще, еще. Жестко,

тряско позвякивая, слепяще проносились трамваи. Но на боках у них были неведомые мне названья. И я не знал, в каком я городе, и есть ли у меня здесь кров, и что мне делать, чтобы больше не бродить.

А теперь еще вдобавок эта болезнь, всегда настигающая меня так странно. Я уверен – ее недооценивают. Точно так же, как преувеличивают значение иных болезней. У ней нет определенных признаков, у этой болезни, она принимает признаки того, кого поражает. С сомнамбулической уверенностью вытягивает она из каждого избегнутую опасность и ставит вновь перед ним – близкую, грозную, неминуемую. Мужчины, в школьные годы предававшиеся жалкому пороку, надругаясь над бедными, жесткими обманутыми мальчишескими руками, снова впадают в него, или вновь страдают от болезни, которой переболели в детстве, или к ним возвращается побежденная привычка, какой-нибудь робкий, годами мучивший поворот головы. И что бы ни воротилось – облеплено путаницей воспоминаний, как мокрыми водорослями затонувший предмет. Незнаемые жизни всплывают со дна, перемешиваются с тем, что в действительности существовало, и теснят прошедшее, считавшееся достоверным; ибо в том, что выныривает из глуби, есть свежая, отдохнувшая сила, а то, что было всегда, увяло от слишком частых воспоминаний.

Я лежу в постели у себя на пятом этаже, и день мой, не перебиваемый ничем, похож на циферблат без стрелок. Как давно потерянная вещь однажды поутру вдруг оказывается на месте, в целостности и сохранности и чуть ли не новее, чем до пропажи, будто ее отдавали подновить, – так и на моем одеяле вдруг, новехонькое, оказывается что-нибудь затерянное в детстве. Все затерянные страхи тут как тут.

Страх, что крошечная шерстинка, торчащая из одеяла, – твердая, твердая и острая, как стальная игла; страх, что пуговка на моей ночной рубашке больше моей головы – огромная, тяжелая; страх, что хлебная крошка, упав с моей кровати, стеклянно расколется, и давящая тоска оттого, что с ней вместе расколется все – все и навеки; страх, что оборванный край вскрытого письма прячет запретное, чего никому нельзя видеть, и невообразимо важное, для чего во всей комнате нет надежного места; страх, что я проглочу во сне выпавший из печи уголек; страх, что спятившее число пойдет разрастаться у меня в мозгу и уже перестанет там уместаться; страх, что я лежу на граните, на сером граните; страх, что я буду кричать, к моей двери сбегутся, ее взломают; страх, что я выдам себя, выболтаю свои страхи, и страх, что я слова не смогу из себя выдавить, ведь словами их не передашь – и еще страхи... страхи. Вот я молил о

детстве, оно и вернулось ко мне, и я чувствую, что оно такое же тяжкое, как прежде, и не к чему было взростеть.

Жар у меня вчера спал, а нынешний день начался как весна, как весна в картинках. Попробую-ка я выйти, пойду в Bibliotheque Nationale, к моему поэту, давно я его не читал, и потом, может быть, прогуляюсь садами. Сейчас, наверное, ветер рябит большой пруд с самой что ни на есть настоящей водою и дети пускают с алыми парусами кораблики.

Сегодня – вот уж не ожидал; я вышел так храбро, словно это проще простого и само собой разумеется. И опять, опять меня подхватило как бумагу, скомкало и смело – на сей раз несусветное что-то.

Бульвар Saint-Michel, пустой и просторный, полого стлался мне под ноги. В вышине со стеклянным звяканьем отворили окно, и через улицу белой птицей перепорхнул блеск. Скользила мимо карета на ярко-красных колесах, дальше кто-то нес что-то светло-зеленое. Лошади, посверкивая сбруей, цокали по темной от поливки, чистой мостовой. Ветер, взволнованный, новый и нежный, взвихривал всё: запахи, выкрики, звоны.

Я проходил мимо одного из тех кафе, в каких поют вечерами поддельные, ряженые цыгане. Из верхних окон, стыдясь собственной нечистоты, крался вчерашний дух. Прилизанные официанты расчищали мусор у входа. Один, согнувшись, горстями сыпал под столы желтый песок. Вдруг его поддел локтем прохожий и кивнул в конец улицы. Официант, красный как рак, с минуту остро вглядывался в указанном ему направлении, и наконец смех растекся, как выплеснутый, по его безбородым щекам. Он окликнул других официантов и поводит из стороны в сторону смеющейся физиономией, как бы приглашая всех позабавиться, но и сам боясь что-нибудь упустить. И вот они стояли и смотрели вдоль улицы, кто улыбаясь, а кто досадуя, что пока ничего смешного не наблюдается.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

## Примечания

1

Улица Тулье (франц.). – в центре Парижа, на которой поселился Рильке в 1902 году. (Здесь и далее – прим. пер.)

2

Родильный дом (франц.).

3

Улица Сен-Жак (франц.). находится в Латинском квартале.

4

Букв, «долина милосердия» (франц.). – монастырь и военный госпиталь.

5

Ночной приют, ночлежка (франц.).

6

Да замолчи ты, я не хочу больше (франц.).

7

Улицы Нотр-Дам-де-Шан (франц.). – в центре, неподалеку от Люксембургского сада.

8

Букв, «приют бога» (франц.). – парижская больница, построена в VII веке.

9

Улицы Мучеников (франц.).

10

Сите – старинный район Парижа.

11

Хлодвиг (ок. 466–511) – основатель Франкского королевства.

12

Вот ваша смерть, сударь (франц.).

13

Новом мосту (франц.). – мост через Сену, в центре Парижа.

14

Витторе Карпаччо (ок. 1455-ок. 1525) – венецианский художник.

15

Фридрих IV – датский король (1699–1730).

16

Роскилле – собор XIII века, где находится усыпальница членов датской королевской фамилии.

17

Бульварах (франц.).

18

Бульваре Сен-Мишель (франц.). – в Париже.

19

Улице Расина (франц.). – в Париже.

20

Имеется в виду французский поэт Франсис Жамм (1868–1938), большую часть жизни проведший в своих родных Пиренеях.

21

Улице Сены – в Париже.

22

Цветная капуста (франц.).

23

Кафе (франц.).

24

Букв, «воробьиные головы» (франц.). Каменный уголь в виде мелких катышков.

25

Отрывок из «Стихотворений в прозе» Бодлера: «Наскуча всем, наскуча самим собой, я желал бы вновь обрести себя, вновь гордиться собой в тиши одиноких ночей. Души любимых мною, души воспетых мною, укрепите меня, даруйте силы, отдалите от меня ложь и едкий чад земли. А ты, о Господи Боже мой! Сподоби меня написать несколько счастливых стихов, которые бы мне доказали, что я не самый последний из людей, что я не хуже тех, кого презираю».

26

Библия. Книга Иова. 30:8 – 31.

27

Сальпетриер – клиника в Париже.

28

Пожалуйста (франц.).

29

Смейтесь! (франц.)

30

Смейтесь. Смейтесь, смейтесь же (франц.).

31

Скажите нам слово: вперед (франц.).

32

Вперед (франц.).

Ничего не слышно. Еще раз... (франц.).

----

Купить: [https://tellnovel.me/ru/ril-ke\\_rayner-mariya/zapiski-mal-te-lauridsa-brigge](https://tellnovel.me/ru/ril-ke_rayner-mariya/zapiski-mal-te-lauridsa-brigge)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)